

Анна МАТЫШЕВА



ИСТИННЫЙ МАСТЕР ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА

— • Конкистадоры • —

От дара жизни возможно отказаться, дар бессмертия возвращать некому



Анна Витальевна Малышева Конкистадоры (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3938375

Конкистадоры : [рассказы] / Анна Малышева.: Астрель: АСТ; 2011

ISBN 978-5-17-072930-2, 978-5-271-34012-3

Аннотация

Древнее колдовство настигает свои жертвы через века, континенты и поколения. Родовое проклятие включает в себе страшный дар бессмертия. Уже заведены часы, стрелки которых вечно бегут вспять, и выстроены лестницы, по которым можно взбираться, только спускаясь вниз... Привычная реальность неузнаваемо искажается, стоит только свернуть за угол, войти в брошенный дом, взять в руки запретную книгу... И тогда начинается головокружительное путешествие сквозь иные эпохи, культы и миры.

Содержание

Конкистадоры	4
1	4
2	6
3	9
4	11
5	13
6	16
7	19
8	24
9	28
10	31
Дневник дракона	36
Желтый дракон	48
Коррида	53
Мардук	62
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Анна Малышева

Конкистадоры

Конкистадоры

1

Война окончилась, и Каталина Монтехо перестала ждать своего мужа, так и оставшегося лежать завернутым в сорванную портьеру в захваченном баронском доме, далеко, в Германии, в Эбервальде. Его друзья ушли в очередную атаку, и на тело чужака молча смотрели разгромленные буфеты – смотрели детскими глазами крестильных чашечек, расписанных сиренью. В разбитое окно тянуло смрадом из вольера, где лежали трупы немецких овчарок, отравленных бежавшими хозяевами. Муж Каталины не погиб в бою – его зарубили во сне за два дня до конца войны шашкой, на серебряном эфесе которой было вытравлено имя «Эннегрет». Хозяин шашки Эннегрет пах гарью и смертью, как сожженный дом, как вся окраина городка, где уже угасало пламя шестилетней войны. Он незамеченным взобрался по загаженной и окровавленной мраморной лестнице, между разбитых статуй, спящих солдат и поющих патефонов, один из которых

исполнял «Лили Марлен», а другой – увертюру к «Тангейзеру». Прошел по анфиладам комнат, среди призраков своего детства, и остановился у кресла, где спал человек с чувственным, резко очерченным ртом. Медленно, со страстной осторожностью ненависти поднял тяжелую шашку и ударил два раза. Через полминуты он сам был убит в спину длинной очередью из автомата.

Известие о смерти мужа привез Каталине Монтехо друг семьи, Филипп Каstellано – он и убил сумасшедшего барона в Эбервальде. Он горевал едва ли не больше вдовы, оставшейся с четырьмя детьми на руках, – Филипп был не только дальним родственником ее мужа, но и его неразлучным другом с детства. Вместе они росли в Гранаде, вместе учились в Резиденции, вместе выступили против Франко и были вынуждены бежать из Испании в октябре тридцать восьмого года, когда оставаться там стало невозможно. Каталина против своей воли с мельчайшей отчетливостью помнила тот страшный осенний полдень в порту Картахены, который безостановочно бомбили франкистские самолеты. Причал, где шла посадка, за считанные мгновения обратился в крошечный ад, в месиво из чемоданов, разорванных осколками, окровавленных человеческих тел, уже неподвижных и еще извивающихся. У женщины до сих пор немели ноги, когда она вспоминала, как муж толкал ее, оцепеневшую от ужаса, на трап, уже перекрытый ранеными и трупами, и как она решилась наконец ступить на чье-то бьющееся в агонии тело. Она и сейчас не могла понять, каким чудом не потеряла в этом чудовищном хаосе из крови и паники никого из детей, не помнила, как они оказались на палубе, а затем – в трюме, как отчалил корабль, навсегда увозящий их от берегов роди-

ны. На этом корабле Испанию покидал и другой, безмолвный и неподвластный смерти, пассажир. То было легендарное золото конкистадоров, шестьсот тонн слитков и ювелирных изделий, как оригинальных, индейских, так и перекованных некогда из религиозно-эстетических соображений. Наспех сбитые ящики тесными угрюмыми рядами стояли в трюмах. Их не успели расположить так, чтобы сбалансировать бортовую и килевую качку, и когда начинало штормить, волны с усиленной яростью набрасывались на судно, пробирающееся между валов жуткими скачками и с запинками, будто пьяница, готовый вот-вот потерять равновесие. Всю дорогу Каталину одолевала смертельная дурнота. Она неподвижно сидела на чемодане, поджав под себя ноги в разорванных чулках и оперевшись спиной о ящик с золотом, призрачно-бледная, равнодушная ко всему, вновь и вновь переживая ужас затихшей вдали бомбежки. У женщины смутно осталась в памяти Одесса, тенью мелькнула Москва, сном показался душный грязный поезд, увозящий семью все дальше на восток. Очнувшись она только в Алма-Ате. Ее пробудил безмятежный шум арыков, таящий в себе нечто знакомое. И то же странное чувство пронзило Каталину, когда она взглянула на пирамидальные тополя, темными рядами стоявшие вдоль длинных, истомленных жарой улиц, на синие горы, замыкавшие горизонт повсюду, куда бы она ни обернулась. Это было лишь смутно похоже на покинутую Гранаду, и все же здесь женщина решилась вздохнуть полной грудью, взять в руки иглу

с ниткой, чтобы привести в порядок одежду детей, прислушаться к звукам незнакомого языка, который ей еще предстояло выучить.

Филипп Кастеллано тоже сумел сесть на тот корабль, уцелела и его единственная дочь, красивая молчаливая девочка, точная копия рано умершей жены. Прибыв в Алма-Ату, испанские семьи получили жилье, Кастеллано – отдельно стоящий флигель, Монтехо – целый одноэтажный дом, просторный, но запущенный. Муж Каталины немедленно взялся его достраивать и переделывать и к началу войны привел в такой вид, что женщине все чаще начинало казаться, будто она никуда и не уезжала из Гранады. Дом был почти точной копией того, который пришлось оставить, – белый, квадратной планировки, с четырьмя внутренними дворами. Изнутри он представлял собой непрерывную анфиладу сообщающихся комнат. По мнению соседей, дом построили неудобно и нерасчетливо, но для Каталины он был единственно возможным, как для пчелы единственно возможна шестиугольная ячейка в улье. Достроив дом, муж Каталины вскоре ушел на фронт добровольцем, как всегда, вместе с другом, который был его верной неразлучной тенью. Женщина долго не могла осознать, что Филипп Кастеллано вернулся один.

Как и до войны, как и в Испании, он приходил каждый вечер на чашку кофе, и как всегда, о его появлении Каталина узнавала прежде, чем слышала стук в дверь, даже если находилась на другом краю дома. Стоило ему поставить на ступеньку крыльца узкую маленькую, совершенно девичью ногу, как ее сердце сразу делало несколько лишних ударов. Она бы умерла от стыда, если бы он когда-нибудь узнал об этом, от стыда, смешанного с блаженством, – Каталина глотала эту пьянящую смесь, пока гость пил свой кофе. Все было, как в тот необычайно холодный майский вечер, в Гранаде, много лет назад, когда отец привел в гости будущего мужа Каталины и его неразлучного друга, и она угощала их, занимала разговором, обращаясь только к жениху и не смея взглянуть на другого гостя. Она помнила тот вечер, как помнят драгоценные минуты жизни, помнила лучше, чем свою свадьбу и первые слова детей. Большой старинный дом медленно тонул в сумерках, они уже наполнили все четыре внутренних дворика, в одном из которых находился колодец; казалось, из него они и выползали к ночи, чтобы затопить комнаты. Кладбищенские кипарисы, стоявшие вдоль улицы, стали черными на фоне бледного неба, сонно лепетала вода в арыках, прорытых еще арабскими властителями Альхамбры. Закат лежал на гористом горизонте, как груда битого стек-

ла – зеленого и розового. Один осколок был у нее в груди, под сердцем, Каталина чувствовала его всякий раз, когда делала глубокий вдох, с того момента, как увидела того, кто не предназначался ей в мужа – худого, белокурого, с плаксивой линией рта, всегда одетого в черное. Она любила его, не смея встретить тяжелого взгляда бесцветных глаз, любила беспричинно, и тем более непоправимо. И вот он вернулся с войны и, давно уже вдовец, приходил по вечерам на чашку кофе к ней, уже вдове, и сказать ему о своей любви было еще невозможней, чем когда-либо.

«Эта девочка – единственный свет моих глаз», – сказал ей Филипп Кастеллано перед самой войной, приведя в дом Изабеллу-Клару-Эухению, тоненькую девушку, почти подростка, одетую в тот вечер в золотистое парчовое платье своей покойной матери, под которым терялась детская грудь. Она стояла неподвижно, преувеличенно серьезная и нелепо нарядная, в старомодной шапочке с пером, обшитой жемчугом, с брильянтовой брошкой на груди, – девочка, невозмутимо согласившаяся стать женой Хорхе, любимого сына Каталины, не выказав при этом ни радости, ни страха. Так же невозмутимо и необъяснимо покорно она увяла в первый же год супружества, превратившись в безмолвную тень, одну из тех, что населяли дом Каталины.

На второй год войны невестка родила девочку, которую называли в честь покойного деда – Берналь, и Каталина наконец вздохнула спокойно. Все это время она еще чаще, чем обычно, вспоминала о своем проклятии, которое находилось совсем рядом, в беленой пустой комнате, где из мебели стояло только большое продавленное кресло. Чужаку, который заглянул бы туда случайно, показалось бы сперва, что в кресле сидит деревянная раскрашенная статуя с глазами, инкрустированными черной и белой эмалью. Однако это был брат-близнец Хорхе, мужа Изабеллы. Каталина еще в Испании по-

казывала Диего десятку врачей, слышала туманные рассуждения о том, что один из близнецов часто страдает от нехватки кислорода и рождается слабее другого, и тут же — их заверения в том, что молодой человек может прожить еще хоть сто лет. Он и в самом деле никогда ничем не болел, тогда как его брат, Хорхе, каждую неделю раздевался в холодном белом кабинете доктора, вздрагивая и задыхаясь от прикосновений пальцев к своей впалой голой груди. Берналь росла совершенно здоровой, несмотря на голодные военные годы, а ее отец чувствовал себя все хуже. Наконец он попросил перенести свою кушетку из супружеской спальни в комнату брата, где и умер в один из послеполуденных часов долгого летнего дня, когда вся семья слушала в столовой по радио очередные сводки с фронтов; умер, глядя в угол, где с великолепной осанкой египетской статуи сидел его брат, хотя и отвечающий всем канонам о вместимости души своего оригинала, но не оживший после его смерти, как не ожила ни одна из статуй в Долине царей.

После войны время замерло в сумеречном доме, который выстроили так, что туда не заглядывало солнце, какой бы жаркий день не стоял на дворе. Здесь, среди незаметно растущих внуков, Каталина не считала прожитых лет, здесь легко, будто козочка, носилась по комнатам Берналь, отвлекая от занятий кузена, внука Каталины от старшего сына. Франсиско-младший твердо решил поступить в университет, чем очень льстил тщеславию бабушки. Каталина так и не смирилась с тем, что его отец, ее первенец Франсиско-старший, на которого она возлагала столько надежд, когда-то бросил учебу и служил теперь в городской типографии чернорабочим. Он огрубел, понемногу приучился выпивать, домой возвращался за полночь, засиживаясь после смены в грязной закуской. Его жена, кроткая и болезненная женщина, несколькими годами старше мужа, не решалась даже упрекнуть его, так боялась – не то звука своего голоса, не то сурового взгляда свекрови. Когда-то, сразу после приезда в Алма-Ату, Каталина не одобрила этот брак, хотя Микаэла тоже была испанкой, вдовой эмигранта, погибшего в порту Картахены. Каталина считала, что ее сын мог бы выбрать супругу красивее, моложе и совсем необязательно испанку – здесь ее взгляды не отличались узостью. Но муж приказал ей не путаться не в свое дело, сын настоял на своем, и она смири-

лась, хотя даже спустя многие годы продолжала игнорировать и затирать в черную работу старшую невестку, подчеркнуто балуя младшую, Изабеллу. Каталина невольно перенесла на нее свои чувства к человеку, о котором думала не переставая, начиная с того зачарованного вечера далекого мая, когда Гранада тонула в розовых сумерках, за белой оградой кладбища жутко стонали влюбленные совы, и ее руки предательски вздрагивали в то время, когда она передавала визитерам чашки с кофе.

Во флигель, где в одиночестве жил отец Изабеллы, Каталина впервые вошла только поздней осенью спустя десять лет после войны. Под окнами стлался дым от сжигаемых повсюду листьев, на веранде через два дома трофейный патефон играл увертюру из «Тангейзера». Следя, как Микаэла расставляет вдоль стены стулья для бдения, а Франсиско-старший бережно усаживает у изголовья постели безмолвную Изабеллу-Клару-Эухению, она даже не сразу узнала покойного, испытав что-то вроде разочарования при виде его старого черного костюма, вялых прикрытых век и плаксивого впалого рта, будто прилипшего изнутри к зубам. Ее руки больше не дрожали, и она не слышала легких шагов, что не давали ей покоя всю жизнь. И все же перед нею на постели лежал единственный мужчина, которого она любила, и Каталина впервые в жизни поцеловала его желтый высокий лоб, при всех, ничем не рискуя, и села на стул у самой двери спальни, храня на сомкнутых губах ощущение его ко-

жи – липкой, словно смазанной маслом. Она поклялась себе больше никого не целовать до самой смерти – ни мужчину, ни женщину, ни ребенка. Патефон на веранде через два дома играл уже «Лили Марлен». То, что песня была о вечной любви, смутно волновало Каталину, и она знала, что сдержит слово.

Женщины собирались вечерами в одном из внутренних двориков, где в землю были вкопаны стол и две скамьи, а вдоль стен цвели розы Каталины. Они чинили одежду, чистили ягоды для варенья или вязали – Микаэла умудрялась немного этим подрабатывать. Газетами они не интересовались, книг в доме не водилось, если Каталина что-то и читала, то это были письма от дочери Александры, вышедшей после войны замуж и уехавшей на север. Каталина читала эти письма вслух, и невестки слушали, отмахиваясь от назойливых мух руками, сладко пахнущими одеколоном. Им они, по совету доктора, сообща протирали на ночь парализованного брата Хорхе, чтобы у того не появились пролежни. Каталина в его туалете участия не принимала. Ущербного сына она не любила, втайне стыдилась, как стыдятся невольного греха или промаха, и даже избегала называть по имени. Он был «брат Хорхе» – и только, как будто лишь связь с давно умершим человеком делала его бесцельное существование допустимым. Внуки, с ее подачи, не знали, как зовут дядю, по простоте душевной полагая, что имя ему ни к чему, и относились к нему, как к предмету обстановки. Но для невесток эти походы в дальнюю белую комнату, где, кроме кресла, стояла теперь еще и клеенчатая кушетка, были чем-то вроде игры в театр. Каталина случайно узнала, что они со-

здали целый ритуал вечернего туалета, разыгрывая фрейлин, умывающих и переодевающих короля. Слабоумный паралитик сносил более чем часовую церемонию со своей обычной невозмутимостью, не проявляя ни удовольствия, ни раздражения. Более того, однажды, когда Изабелла-Клара-Эухения перевязывала ему старый черный галстук (одевали его в костюмы покойного брата), он даже чуть-чуть улыбнулся ей, но из такого далека, что она сама себе не поверила. Какие дворцы он созерцал в своем вечном безмолвии, какие видения проходили перед ним на фоне монастырски белых стен – так и осталось тайной.

По привычке, привезенной с родины, Каталина проводила вечера во дворике вплоть до поздней осени. Она куталась в толстую вязаную шаль, когда воздух становился резче и холоднее, а промерзшие до железной твердости лужи напоминали мозаичные окна, куда были впаяны мертвые жуки, бронзовые воробьиные перья и лохмотья розовых лепестков. Письма от дочери приходили с неизменной точностью, раз в две недели, и, как все повторяющееся, наконец потеряли для нее всякий смысл. Чтение вслух одних и тех же новостей уже не доставляло ей удовольствия, а слушательницам – интереса. Забывшись на полуслове, Каталина обрывала сама себя и долго сидела, сложив руки на коленях, глядя из-под опущенных ресниц, как в мутных аквариумных сумерках расплываются силуэты невесток. Вместо письма дочери она видела кусты сирени и голубые ели, окружившие дом, из кото-

рого в модном красном пальто выходила утром Александра и шла по песчаной дорожке к калитке. За оградой в машине ждал муж, чтобы ехать с ней на службу. Каталина слышала хруст зеленоватого утреннего льда под торопливыми каблуками Александры и бормотание забытого радио на кухне ее дома, видела, как в чашках на столе подергивается пленкой остывшее, недопитое какао. И когда однажды Каталине вместо письма принесли телеграмму, она не сразу решилась ее прочесть, а сперва отложила в сторону со смешанным чувством страха и недоумения.

Это было, как если бы на старой, давно знакомой фотографии, годами висевшей на стене, она вдруг увидела разбитый автомобиль, искореженную туфлю на высоком каблуке или похоронную процессию.

Изабеллу-Клару-Эухению уложили в простой сосновый гроб, забили в крышку несколько гвоздей и отвезли за город в кузове грузовика. Каталина не отпустила Берналь на кладбище, опасаясь, что любимая внучка заболеет от зрелища похорон, и девушка весь день провела в бывшей спальне матери, уронив белокурую голову на ее подушку и заливая слезами альбом с фотографиями. Каталина тоже осталась дома, она никак не могла прийти в себя после того, как невестка в одночасье скончалась от сердечного приступа, внезапно рухнув со скамьи, на которой сидела с вышиванием. Каталина не успела подскочить и подхватить разом обмякшее тело, а когда опустилась рядом на колени, наступила агония. Уже ничего не сознавая, туго дыша сквозь стиснутые зубы, Изабелла била и била маленьким сжатым кулаком по начатой вышивке, попадая по вонзенной в ткань иголке, и лиловые фиалки на глазах бурели, пропитываясь ее кровью. Этот клочок ткани Каталина спрятала в свой комод, как реликвию, и в тот миг, когда задвигала ящик, не удержалась и коснулась губами вышивки, на которой засохла кровь Филиппа Кастеллано.

Мужчины и сопровождавшая их Микаэла вернулись с кладбища, и та, отведя свекровь в сторону, принялась обстоятельно докладывать, как она помогала найти сторожа, раз-

давала подавание нищим и украшала могилу и как на обратном пути заставила мужчин заехать в старый госпиталь, куда никак не могла попасть все последние пятнадцать лет. В этом госпитале обе невестки вместе со свекровью работали во время войны; там у Микаэлы, особы хозяйственной и заправливой, осталось небольшое, но важное дело. Она беспрепятственно прошла к хозяйственным корпусам, отыскала заброшенную кладовую и отперла ее своим ключом, который когда-то утаила и не сдала кастелянше. В углу ее ждал целый узел постельного белья, почти совсем нового, лишь слегка тронутого плесенью. На счастье, никто его так и не обнаружил. Когда-то главный врач приказал ей, санитарке, сжечь белье на заднем дворе, а она сочла это безумием и расточительностью и спрятала весь ворох в старую кладовую, куда никто не заглядывал.

Слушая рассказ невестки, Каталина вскоре заметила, что Микаэла странно присвистывает на вдохе, словно ей не хватает воздуха, а ее полное белое лицо покрыто испариной, несмотря на прохладный день. Еще не успев понять, в чем дело, Каталина почувствовала, как у нее на затылке шевельнулись волосы.

Последний раз она слышала такую прерывистую свистящую речь в госпитале, в самом начале войны, когда особая форма легочной чумы распространялась с невероятной быстротой из-за того, что никто не знал, как с ней бороться. Даже белье из-под умерших сначала не сжигали, а попросту

кипятили, гладили и снова пускали в ход. Каталина металась по душной переполненной палате, среди десятков людей, целыми связками обрывающихся с меловых гор своего бреда. Ей казалось, что она находится в паровозном депо, переполненном почти зримым, белым паром, горячими свистящими струйками вырывающимся из сжатых зубов, – в депо, откуда все поезда уходили только в одну страну.

Чуме и на этот раз хватило нескольких часов, чтобы сломить свою первую жертву. Сперва Каталина заперла в спальне бессильно упиравшуюся Микаэлу, внезапно сделавшуюся строптивой, потом ее мужа и, наконец, их сына, своего внука Франсиско-младшего.

Единственная не заразившаяся, Берналь спасалась в дальнем дворике с колодцем, рядом с непрерывно горящим костром, который ее бабушка зажгла сразу же, как началась эпидемия.

Через неделю болезнь ушла с их улицы, убив всех, кого было возможно, и теперь гуляла в городе, в котором объявили карантин. Из всей семьи уцелели лишь Берналь и Каталина, да еще Франсиско-младший никак не мог расстаться с жизнью. Измученный до предела, с отеками легкими и страшным сиплым дыханием, он все еще жил, бредил, отгонял от себя бабушку, которая представлялась ему зеленым огненным пятном, ворочался и бился в зыбучих песках своего жара. Каталина обтирала тело внука уксусом, вливала в его потрескавшиеся губы капли лимонной воды и ловила об-

рывки его бессвязных речей. Теперь, перед смертью, он говорил только по-испански, на языке родины, воздухом которой никогда не дышал. В его бреду мелькали названия колоний — Чиапаса, Табаско, Гватемала и Гондурас, образ некоего человека, которого он называл государем, и имя его отца. Он бредил у Каталины на руках и становился ей с каждой секундой все роднее, становился не только внуком, но и кем-то, кому приходилась внучкой она сама. Она видела, как необратимо изменилось лицо юноши за недолгое время болезни, как его изглодали смертные тени, и, слушая его страстные выкрики, уже созерцала вместе с ним то серое страшное море, из-за которого людям, мучимым зудящими язвами, мокнувшими под черными сукнами их дублетов, показалась сияющая земля Эльдorado. Франсиско заговорил со своим отцом, которого называл теперь не иначе как «отец моего сердца», испрашивая у него позволения отправиться колонизировать Чичен-Ицу. Внук уходил от Каталины все дальше и дальше, и она уже не различала его в синих сумерках Юкатана. Он был теперь в северных провинциях и ожидал вестей от своего отряда в Ах-Кануле, где сражался его друг Берналь Диас, пока Берналь читала «Дон Кихота», взятого в школьной библиотеке, сидя под навесом в дальнем дворике, где заброшенные розы качались под дождем, бурно шумящим в синей летней ночи. Костер погас. Каталина слушала уже почти незнакомый надтреснутый голос, торжественно читающий сообщение, адресованное могущественному испанско-

му монарху, сыну Филиппа Красивого и Хуаны Безумной, и смотрела, как исчезает в сумерках пустой белой комнаты лицо ее внука Франсиско.

Она ни на миг не потеряла чувства реальности и мысленно уже подсчитывала, сколько надо заплатить за гроб, сколько за похороны. Она понимала, что только агония распечата-ла сердце этого молчаливого мальчика, сердце, исполненное гордыни, с которого скатились последние камни, наваленные временем. И Каталина понимала теперь, что за все эти годы, на протяжении которых внук ее ни разу не поцеловал, в его сердце звучало только послание к государю, повествующее о прекрасном и верноподданническом городе, основанном во славу Божью и на посрамление порождений дьявола, населяющих новые земли на востоке. Гроза уходила, в комнате пахло свежестью. Каталина склонилась над постелью и увидела, что Франсиско открыл глаза и посмотрел на нее. И еще прежде чем он в последний раз шевельнул губами, она угадала его слова и поняла, что Франсиско де Монтехо-младший достиг своего Эльдорадо.

Третий год после эпидемии стояли небывалые в этих землях холода. Снег выпадал теперь в самом начале осени и не таял до лета. После захода солнца на город опускалась тяжелая ледяная тьма, звеневшая на окраинах до рассвета, как железная ограда, по которой водят палкой. Дом Каталины опустел, садик погиб. Комнаты промерзли, в углах появилась плесень. Свои почти ничем не заполненные дни Каталина теперь проводила в спальне, поставив ноги на крошечную печурку, набитую тлеющим углем, дуя на пальцы и следя за тем, как сумерки, высветляясь, превращаются в апатичный полдень и вновь сгущаются, расползаясь по заброшенным комнатам. Она заметно сдала, ослабела, потеряла интерес к хозяйству и ловила себя на том, что стала хуже видеть. Глядя в окно, Каталина никак не могла различить синих гор в конце улицы, их будто затянуло серой пеленой.

Она еще наводила порой чистоту, через день готовила скудный обед, но это было все, на что хватало сил, и женщина ужасалась тому, что так одряхлела в свои шестьдесят с небольшим. Продукты приносила внучка, которая где-то мыла полы после занятий в техникуме. Мизерной пенсией бабушки распорядилась она же. У Каталины все выпадало из рук, она оставила за собой лишь право повелевать и запрящать, благо Берналь беспрекословно ей подчинялась. Де-

вушке недавно исполнилось двадцать лет, и Каталина спрашивала себя, какая судьба ждет ее, нищую, одинокую, если она вдруг останется совсем одна. Однако вскоре ее страхи сменились другими, тем более мучительными, что их приходилось держать в тайне.

В один из вечеров, вытирая пыль в спальне Изабеллы-Клары-Эухении, где всегда стоял лиловатый, как ее глаза, пахнувший душицей полумрак, Каталина вдруг увидела в углу два силуэта. Сначала ей показалось, что там, обнявшись с незнакомым мужчиной, прячется Берналь, но тут же она убедилась, что все сходство с внучкой заключалось в белокурых завитках на затылке женщины. Та обернулась на окрик, и Каталина увидела серьезное, еще детское лицо, над которым качалось белое перо, венчавшее старомодную шапочку. А мужчину она узнала по тому, как задрожали у нее руки, той дрожью, что преследовала ее когда-то. Он по-прежнему был одет в черное, так же были изогнуты над бесцветными глазами тонкие русые брови, такой же плаксивой и надменной осталась линия его рта. Каталина, оцепенев с пыльной тряпкой в поднятой для защиты руке, увидела, как призраки развернулись и пошли прямо на нее – медленно, неторопливо, глядя ей в глаза.

Она сбежала в свою спальню, малодушно заперлась и молилась до рассвета за упокой душ умерших. Внучке ни в чем не призналась, но приказала, чтобы та больше не входила в комнату Изабеллы-Клары-Эухении, откуда, начиная с то-

го вечера, стали слышаться приглушенные голоса и легкий скрип рассохшихся половиц.

Визиты призраков этим не ограничились. Прошло всего несколько дней, и в одно холодное румяное утро за стол, с которого Каталина убирала остатки завтрака, уселся высокий тонкий мальчик. Он вошел в столовую как ни в чем не бывало, по-прежнему бледный, по-прежнему замкнутый, лишь одетый по-новому – в черный дублет конкистадора, подбитый железными планками и ватой. Каталина, не подав вида, что испугалась, ласково заговорила с ним и спросила, как поживают его мать и отец. Сперва Франсиско-младший как будто стеснялся и сдержанно отвечал, что живут они хорошо, но, подчиняясь настойчивым расспросам Каталины, постепенно разговорился, не спуская с нее печального и пристального взгляда. «Мы стараемся, бабушка, стараемся, чтобы все было, как прежде», – заключил он. Он рассказал о жизни в новом доме, очень похожем на этот, вымерший, и Каталина узнала, что розы, которые пыталась там вырастить Микаэла, так и не зацвели. Обмолвился он и о том, что от Александры снова начали приходить письма, которые не читают, а складывают в стопку, в ожидании бабушки – Каталина содрогнулась, услышав это простодушное признание. Отец его снова работал в типографии, правда, газета, которую там печатали, называлась иначе.

Самой волнующей новостью оказалось то, что из Германии приехал наконец муж Каталины. Правда, добираться до-

мой ему пришлось из той Германии, из которой он только и мог вернуться, начиная с той ночи, как его убили. На это понадобилось почти двадцать лет, так как Германия мертвых оказалась гораздо обширней. Он очень устал, ослаб, ненадолго лег в больницу, чтобы подлечиться, и все равно заходил иногда домой, даже выкрасил все веранды во внутренних дворах в синий цвет. Но чаще, чем дома, муж Каталины бывал в гостях у своего друга, Филиппа Каstellано, который по-прежнему жил через два дома от них, во флигеле, окруженном трепещущими тополями, уже начинавшими сбрасывать листву в преддверии близкой зимы.

Из-за визитов призрачной родни, все более частых, и вернувшихся вместе с бывшими членами семьи хлопот Каталина почти забыла о Берналь, которая одна из всех не требовала у нее внимания. Девушка училась в техникуме, на последнем курсе, после занятий работала и, возвращаясь поздно вечером домой, сразу ложилась спать. Рано узнав нужду и заботы, она сделалась хмурой и нелюдимой, перестала разговаривать с бабушкой, от усталости даже не замечала призраков, которые теперь дневали и ночевали в доме, и жила, казалось, какой-то своей, трудной и не очень счастливой жизнью. Как-то Каталина столкнулась с внучкой ранним утром, в конце октября, когда в доме все еще спали. Каталина, по обыкновению, поднялась первой, чтобы приготовить завтрак. В столовой мерцал смутный розоватый свет, из открытых дверей спален несло кисловатым сонным теплом, и все окна изнутри запотели. Но на кухне оказалось холодно и свежо. У плиты стояла Берналь и варила себе кофе. Она была в невообразимо старомодном, тяжелом, закрытом до подбородка и запястий черном платье, бесследно поглотившем ее юную грудь и мальчишескую линию бедер. В ее прозрачных, давно уже освободившихся от сонного отроческого выражения глазах Каталина увидела то, чего никогда раньше не замечала, – тяжелый груз тревог и страстей.

В то утро Каталина ни о чем ее не спросила и только в начале зимы вспомнила, что не встречала внучку вот уже целый месяц. С помощью Франсиско-младшего она взломала дверь ее комнаты и, пока тот бегал к отцу в типографию – позвонить врачу, Каталина, задыхаясь от смрада, повернувшись спиной к постели, торопливо листала у открытого окна дневник девушки. В нем велся точный счет розовым пятнам на груди Берналь и надеждам на их исчезновение, и ночам, когда она до рассвета лежала без сна в своей холодной спальне, оцепенев от ужаса и тоски. С самой весны она скрывала расплывшиеся по всему телу зудящие, мокнущие язвы, нося все более плотные и закрытые платья, сродни тем дублетам, в которых конкистадоры пересекли Восточное море. Лежа в предутренней тьме с круглым зеркальцем в потной руке, она замирала, слушая далекий свист поездов на товарной станции и крик лягушек на болотах, и биение собственного сердца, такого близкого за тонкими ребрами.

Врач пришел быстро и был Каталине знаком – он умер десять лет назад, и она даже присутствовала на похоронах. Каталина помогла ему перевернуть внучку, сама расстегнула прилипшее к ее груди платье и воочию увидела завоевания испанской парши, изъевшей светлое полудетское тело, – парши, которую конкистадоры привезли своим женам и сестрам вместе с низкопробным золотом, найденным в покинутых индейских городах. Эту болезнь первые поколения заразившихся почитали Божьей карой или языческим прокляти-

ем. Но чем бы она ни была, парша, некогда жестоко опустошившая четверть Европы, так и не оставила в покое более цивилизованных потомков конкистадоров, бродя где-то глубоко в их крови, чтобы спустя десятилетия и столетия вновь нападать, слепо поражая как грешных, так и невинных. Каталина не спрашивала врача о причине смерти. Бегло просмотрев дневник, она и сама ее знала. Берналь убила вовсе не болезнь, с которой она могла бы жить многие годы, как жили ее давние предки в ту пору, когда сифилис еще не лечили. Она не покончила с собой, как не покончил с собой ни один ее богобоязненный предок, чья кровь текла в ее венах. Девушка уморила себя голодом, умерла от стыда и страха перед больницей, перед бабушкой, перед собственным телом, и тем самым избежала унижительных расспросов, тягостных подозрений и бесконечных процедур. Каталина не могла не признать, что для болезненно гордой Берналь это был самый лучший выход.

Муж навестил Каталину перед Рождеством. К тому времени призрачные гости уже никогда не покидали ее дома, совершенно освоившись в своих прежних комнатах. Целыми днями Каталина бродила по спальням, вытирая пыль и перестилая белье, сгоняя домочадцев с насиженных мест и довольно отчетливо ворча. Ей уступали дорогу без возражений и предлагали помочь, но Каталина отказывалась, из последних сил пытаясь везде успеть. Ее приводило в отчаяние то, что призраки, как оказалось, едят не меньше живых людей и точно так же рвут и пачкают вещи. Как-то утром она повела в сад жену Франсиско-старшего, чтобы показать той, как следует укрывать на зиму такие нежные цветы, как розы, если она и вправду хочет вырастить их на новом месте. Однако, оказавшись во дворе, Каталина обнаружила, что похвалиться ей нечем – розарий давно погиб от поздних весенних заморозков, о чем она начисто забыла. Каталина скорбно рассматривала торчавшие из-под тонкой снежной пелены почерневшие стебли, проклиная свою сдающую память, и внезапно услышала с веранды голос мужа.

Они встретились впервые, до сих пор он один из всей родни отчего-то ее избегал. Супруги устроились в столовой, Микаэла принесла кофе. Каталина расспрашивала мужа о войне, но он помнил лишь чью-то тень в лунном квадрате на

полу в ту ледяную майскую ночь за два дня до победы, а потом – долгую дорогу домой через яблоневые сады Германии всех времен года. Каталина пробовала пожаловаться на то, как трудно ей стало управляться в одиночку с таким многолюдным домом, но заметила, что ее слова не вызывают в муже сочувствия. Он пожал плечами и закурил. Микаэла, накрывавшая на стол, выразительно вздохнула. После смерти она стала заметно меньше бояться свекрови.

С того дня Каталина, дав волю возмущению, перестала вытирать в комнатах пыль. Мебель оставалась чистой. Присмотревшись, она заметила, что пыль вытирает Микаэла. Воду, за которой Каталина другой день собиралась к колодцу, она находила уже налитой в умывальники, как делал и при жизни Франсиско-младший. На кухне ее опережали Изабелла-Клара-Эухения и приехавшая погостить Александра. Покупки на рынке делала все та же Микаэла. Деньги в семью, как и встарь, приносили ее сыновья, Франсиско-старший и Хорхе. Каталине было совершенно нечего делать, словно брату Хорхе, иссохшему бессмысленному истукану, сидевшему в дальней пустой комнате, о котором она не знала даже, жив он или давно мертв.

Возмущенная посягательствами на свои права, Каталина, не глядя на то что давно выпал снег, решила покрасить облупившиеся перила веранды. Выйдя из дома с банкой и кисточкой, она обнаружила, что перила покрыты слоем свежей синей краски. В дверях столовой стоял ее муж и курил па-

пиросу, провожая Каталину странным, настороженным и сочувственным взглядом. Из-за его плеча показалась Берналь, худая и побледневшая, но улыбающаяся и живая.

– Я стала так скверно видеть, – надтреснутым голосом обратилась к ней Каталина. – В глазах туман, не различаю даже гор в конце улицы. Но это ведь ты, милая?

– Никаких гор больше нет, – шагнула к ней внучка. – Там низины с болотами, туман поднимается оттуда. Это давно уже другой город, бабушка, на севере. Дом тот же, а город другой – ты и не поняла?

– Скажи, когда я умерла? – потрясенно прошептала Каталина. – Я не заметила!

– Три года назад, бабушка, – ласково ответила та. – Во время эпидемии. Тогда в живых осталась я одна.

– А до этого – в порту Картахены, где мы пытались сесть на корабль, – неожиданно заговорил муж. – Я внес тебя на палубу мертвую, и с тех пор с нами жил твой призрак, а после я сам стал призраком, как и наши дети... И до бомбежки ты умирала много раз, как и я – уже не помню точно, когда и где... Но мы всегда были вместе и ничто нас не разлучало. – Муж протянул Каталине руку, и она, сделав нетвердый шаг, вложила пальцы в его горячую ладонь. – Пройдет время, и кто-то из нас снова перейдет черту, которую называют смертью, за ним потянутся другие, но это значит только то, что мы снова соберемся вместе. Все опять повторится, как повторялось всегда, с тех пор как мы отправились искать это

проклятое золото.

И он повел жену в столовую, где уже собралась вся семья. Каталина ясным, внезапно очистившимся от пелены взглядом обвела их всех, заново узнавая Изабеллу-Клару-Эухению, дочь Филиппа I V, и ее венценосного отца, знаменитых де Монтехо – Франсиско-старшего и Франсиско-младшего, подаривших своему государю огромные колонии в неведомых дотоле землях на Востоке. Был здесь и Хорхе де Ланда, прославленный своей жестокостью конкистадор, яростно уничтожавший как самих майя, так и их нечестивые библиотеки, и его брат, монах Диего де Ланда, под конец жизни осознавший ужас преступлений, которые он благословлял, посвятивший себя спасению уцелевших рукописей майя и окончивший дни, дав обет молчания и неподвижности. Здесь были тени Берналя Диаса, завоевателя Ах-Кануля, и Александра Фарнезе, покорителя Антверпена, и Микаэлы Алайо, босоногой монахини, наперсницы Хуаны Безумной... И сама Каталина, и ее муж, всегда предпочитавший любви войну, – все они вновь собрались здесь, в миниатюрном подобии Эскориала, сурового дворца с четырьмя внутренними дворами, непримиримо глядящего в лицо вечности.

Очнувшись от оцепенения, Каталина первой уселась за накрытый к обеду стол. Вслед за ней стали садиться остальные, и шум отодвигаемых стульев смешался с мягким звоном напольных часов, отбивавших очередной полдень, один

из сотен тысяч в бесконечной череде.

Дневник дракона

*Запредельный ужас, бывает, милосердно
отнимает память...*

Г.Ф. Лавкрафт. Крысы в стенах

Или свет угасает, или я с каждым днем вижу все хуже. Небо в маленькой, высоко пробитой отдушине – белое, облака – серые, стены моей темницы – черные. Зеркала у меня нет, и себя самого я не видел никогда, но чувствую, что стар, очень стар. Я уже с трудом выцарапываю этот дневник рыбьей костью на полях пергаментных листов со своими любимыми сказками. Этим сказкам я обязан всем – умением читать и писать (о принципе письменности догадался сам, никто меня не учил), знанием мира (и своего места в нем), плохим зрением (ведь я читал, даже когда смеркалось). Я сам оттуда, из сказок. Позвольте представиться, я – Дракон Амвросий, Император. Долгие годы сижу в каменном мешке, никого не вижу, ни с кем не говорю. Но насколько я одинок, настолько же и неуязвим. Я – Амвросий, символ величия и бессмертия Империи. Сперва я этого не понимал, но когда перечитываешь одни и те же сказки раз за разом, на ум невольно приходят некие мысли. Я напрасно ощупываю свое лицо (или морду), пытаюсь понять, какая у меня внешность. Натыкаюсь на ржавый железный намордник, через погнутые

прутья которого едва-едва могу схватить с влажного заплесневевшего пола куски протухшей еды. Пытаюсь заговорить на языке, который выучил по книгам, а слышу хриплый рев. Какой у меня голос? Сколько мне лет? Откуда я? Как меня зовут? Имя – Амвросий – я выбрал сам, когда впервые в этой тьме осознал себя КЕМ-ТО и мне стало жутко обходиться без имени. Может быть, прежде у меня было другое... А это упоминалось в одной сказке, моей любимой, так напоминающей мою судьбу, про двух братьев-принцев, один из которых заточил другого в подземелье, чтобы незаконно завладеть тронem. Я перечитывал эту сказку до тех пор, пока кусок пергамента не сгнил. Там не было ни начала, ни конца, как нет их и в моей жизни. Прошрое я почти забыл, будущего не знаю. Настоящее – это я сам.

Они – там, снаружи, наверное, догадываются, что я умею и люблю читать. Сбрасывают вниз вместе с едой новые книги. Точнее куски, обрывки страниц, никому не нужные, разрозненные. Иные клочки пергамента отлетают слишком далеко, и я напрасно натягиваю цепь, которой прикован к стене, пытаясь до них дотянуться. И в такие минуты меня мучает не грубый железный ошейник, который надели на меня, как на дикого зверя, нет... Ужасно то, что эти сказки, которые лежат так близко, навеки останутся недоступными и медленно сгниют, как гниет здесь все, как гнию и я. Воды мне не опускают, ее и так предостаточно. Я утоляю жажду, облизывая влажный мох во впадинах своего подземелья, и

снова принимаюсь за книги. В эти часы я забываю о наморднике, скрывшем морду (лицо?). Возможно, я единственный Дракон, который научился читать. У меня нет впечатлений, нет друзей, время для меня – условность. Единственная реальность – намордник (за долгие годы так и не сумел его сорвать), еда и еще сказки. И еще – пятно яркого света, разрывающее высшую точку моей каменной темницы, когда бросают еду и рваные листы пергамента. В этом пятне моим слабым глазам ничего не разглядеть, но кажется, там человек. Я могу догадаться об этом по иллюстрациям к сказкам. Он никогда со мной не говорит, а жаль. Если бы я мог услышать человеческую речь! Одно дело – знать, другое – слышать. Мне хочется поговорить, но делаю я это только с самим собой.

Когда так мало впечатлений, невольно делаешь скоропостижные выводы или совершаешь глупости. Но я не таков. Читали балладу о леди из Шелота? Она умерла, потому что устала жить в заточении и не могла больше видеть теней. Смерть красивая, но для женщины, не для меня. Разница между красавицами и драконами в том, что одни находятся под замком, а другие их стерегут. Я нахожусь под замком, но я не красавица. Я никого не стерегу, но я Дракон. Это моя собственная, новая сказка, и я записываю ее очень медленно – руки (или лапы) часто болят от сырости. В очень плохие дни (можно выбирать между плохими и очень плохими), когда пальцы (клешни) не слушаются, ем с пола, через прутья намордника, а чтобы пролистать страницы сказок, силь-

но дую на них.

Полагаю, что власть моя велика (так во всех сказках), но я ею не пользуюсь. Мне стоит сказать Слово, и стены падут, и меня коронуют, но я молчу. Я жду своего младшего брата, принца, который заточил меня в подземелье, чтобы незаконно завладеть престолом. О, мне не нужна моя власть, но я хотел бы отречься добровольно, а не корчиться в этом сыром аду. Почему меня не убили сразу, как только я стал кому-то мешать? Что это – милость или медленная пытка, или чей-то дальний расчет? Знает ли мой брат, что я еще жив? Кто-то ведь кормит меня, значит, я нужен. Но пока я жив, настоящий Император – я. Иногда из последних сил приподнимаюсь и выглядываю в отдушину. Вижу круглые серые башни, обступившие двор, белый гербовый флаг, стрекочущий на ветру у караулни. Мир для меня двухцветен.

Тюрьма избавляет меня от впечатлений, которые могли бы мучить и угнетать. В известном смысле я не движусь к смерти, лишь созерцаю ее движение вокруг меня, ко мне. Я, как все драконы, наверное, волшебник (догадываюсь, но не проверял).

Затворничество тягостно, но я не рад тому, что иногда приходится принимать гостей. Я написал, что меня никто не посещает, но кое о чем умолчал. Они приходят. Начиная с детства, с юности, если у меня было что-то похожее на детство и юность. Я пугался, но не отступал. Во дворе раздавалось щелканье копыт и ноющие, ясные звуки, непохожие на

пление ветра. После из книг я узнал, так трубят в рог. Тогда надо было ждать гостя. Его спускали ко мне на длинной цепи из того же отверстия, откуда бросали еду.

Конечно, я вовсе не обязан никого принимать, как не обязан править, находиться в темнице — для Императора не существует обязанностей. Но этикет есть этикет. Во время этих бессмысленных визитов я и понял, что являюсь Драконом, потому что эти прекрасные рыцари нападали на меня, пытались убить. Убивал их я. Вот еще одно доказательство того, что я Дракон. Они слабели от ужаса при одном взгляде на меня, а я, даже прикованный, даже в наморднике, умудрялся сделать бросок и сдавить, а после прокусить им горло — все они были без лат и дрожали от страха. Правда, иногда кто-то успевал метнуть копье или послать стрелу из арбалета. Почти вслепую — они-то в моем каменном мешке с непривычки терялись. Несколько обломков наконечников торчат в моем теле и поныне. Я пытался их удалить, но не смог. Моя огрубевшая кожа давно стала похожей на чешую. А ведь было время (я смутно помню), когда она ничем не отличалась от кожи людей, и такие раны убили бы меня. Трупы рыцарей вытаскивали наверх длинными крючьями. Никто из них не сказал со мной ни слова, даже не выкрикнул девиза, а ведь по законам турниров, вызывая противника, так полагалось! Речь, человеческая речь! Услышу ли я когда-нибудь ее?

Может быть, меня заколдовали? Такие сказки я тоже очень люблю. Кто мне спускает вместе с едой эти листки?

Зачем? Что это – милосердие или издевка? Известно ли точно кому-нибудь, что я выучился читать? Если известно, то это милосердие. Но... И издевка тоже. Жестоко показывать мне мир, которого я никогда не увижу. А если увижу, люди отшатнутся от меня с воплями ужаса, увидев изуродованное намордником лицо, за годы превратившееся в морду, услышав беспомощные хриплые звуки.

Иногда на картинках в сказках я обнаруживаю фигуры, чем-то мне знакомые. Такое ощущение, что я видел их когда-то давно, в младенчестве или во сне. Я напрягаю зрение, и тогда на краткий миг мне удастся различить цвета. Отчего, взглянув на стройную женщину в белом головном покрывале и лазурном платье, мне хочется сказать: «Матушка!»? А вот суровый бородатый мужчина на сером в яблоках коне, увешанный раззолоченным оружием. Мне хочется сказать: «Отец!» Отчего? Ведь я Дракон. Ведь я и людей никогда не видел, не считая безликих рыцарей, которые пытались меня убить. Я их даже не успевал разглядеть, называя прекрасными только по куртуазному обычаю. И еще меньше я знал о темном пятне, которое было человеком, сбрасывавшим в подземелье сказки и еду.

Что это?! Как сердце бьется! Не могу опомниться после того, что было вчера... Я видел своего брата, самовольно занявшего престол. Я так взволновался, когда понял, что увижу его, что почти ослеп. Тюрьму открыли. Там, в дальнем углу, куда я никогда не мог доползти на цепи, оказалась дверь!

Вошедшие люди в латах разбили кувалдой звено моей цепи и на ее обрывке грубо выволокли меня в круглый внутренний двор замка. На башнях трещали длинные узкие флаги, тоскливо и ясно ныли трубы где-то за стеной, крохотное холодное солнце стояло в зените. Я поднял тяжелую голову в наморднике и увидел брата.

Сначала он показался мне пронзительно яркой точкой на фоне траурных драпировок балкона, потом, справившись с собой, я различил лицо. Гладкое, меловое, лишенное теней, словно освещенное слишком сильным, неживым светом. Пустые, сощуренные в две темные щели глаза, детский рот, искривленный, будто изуродованный. И, встретив его неподвижный взгляд, я понял, что он жесток сердцем и что для меня нет надежды. Меня дернули за цепь, утащили обратно в темницу, снова заковали. Дверь замкнулась, мрак ослепил меня. Я упал на липкий каменный пол. Свет и воздух словно отравили мою душу. В этот миг я перестал мечтать о солнце, о примирении с братом и желал одного, чтобы все осталось, как есть. Куски заплесневевшей еды, которые я с трудом обгладываю шатающимися зубами, спертый воздух, обрывки слов на гниющем пергаменте, и я сам, в своем сыром и темном мире, где и маленькие радости и большие горести – все принадлежит только мне. Почему бы не оставить меня в покое? Ведь я не бунтую! Я смирился...

Проснулся оттого, что ухом, прижатым к каменному полу, уловил далекое журчание там, глубоко под камнями. Я

выслушивал его, передвигаясь по вогнутым плитам и наконец нашел место, где оно слышалось всего отчетливее. На самом дне моей темницы оказалось маленькое отверстие. Оно было так мало, что раньше я его и не замечал. Но сейчас я нашел бы его и без журчания, потому что уловил странный, тяжелый и густой аромат, поднимающийся оттуда, из глубины. Я вдохнул его, и мне вдруг пригрезился светлый букочный лес, и между широко отстоящих друг от друга деревьев, в низкой траве – колокольчики тех цветов, что одни только пахнут так тяжело и сладко... И в этом лесу я увидел стройную женщину в лазоревом платье, и бородатого мужчину, и многих еще... А когда поднял голову, то обнаружил, что в каменном мешке светло.

Там, наверху, в самой высокой точке темницы, открылось громадное круглое окно, и сияющая колонна дневного света опустилась прямо на меня. Проморгавшись, я увидел балкончики. Они шли по окружности, высоко под куполом; на их перилах были вывешены имперские флаги, за ними виднелись дамы и кавалеры, точно такие, как в книжках. А я-то думал, что знаю свою тюрьму! Ее монолит оказался изъеден отверстиями, устроенными для... Очередного издеательства? Для убийства? Или... Для коронации?!

О, я понимаю. Наступил решительный момент. Я должен явить свою власть. Я готов. Теперь понимаю, для чего мне показали брата. Или меня показали брату? Все равно. Я или он, иначе не будет. Теперь он видел меня, я – его, теперь мы

враги, и он не сможет утверждать, что не знал, как я гнил долгие годы в каменном мешке. Есть свидетели!

А если... Если он захочет провозгласить меня безумцем, неспособным править?! Нет, нет! Я умею читать и писать, и я могу, я должен, наконец, заговорить, чтобы оправдаться! Ведь я намного умнее и способнее, чем он! Его-то всему учили, он не жил во тьме, в наморднике, на цепи, среди плесени и крыс, не слыша ни единого человеческого слова! Вон он, наверху, в бархате и кружевах, в жемчуге и парче, такой нежный и хрупкий, что не вынес бы и одной ночи в моем каменном сыром логове! О!

И я попытался выкрикнуть, сказать все это, но услышал лишь безумное рычание, вырывавшееся сквозь прутья моего намордника. Они смеялись надо мной! Смеялись, прикрывая рты расшитыми тяжелыми рукавами! Никто не вымолвил ни слова! О, если бы хоть слово, я бы понял, чему должен подражать, как должна звучать моя речь! Ни слова! Ничего!

Движение на балкончиках. За стенами зарыдали и смолкли трубы. Качнулись зубчатые флаги в ложе Императора. Он стоит неподвижно. Тишина.

Внезапно я замечаю, что стою в луже. Это из отверстия в полу начала бить прозрачная, маслянистая влага, зеркально сияющая в солнечном столбе. Запах становится все сильнее. На какое-то мгновение я снова увидел колокольчики между буковых стволов... Этот запах... Эти взгляды... Расширен-

ные зрачки моего брата... Его немые темные глаза, немые и темные, как моя тюрьма... Он слеп, теперь я понимаю! Он попросту меня не видит!

Запах все густеет, он, верно, уже достиг балкончиков. Там происходит шевеление, слышится легкий подавленный стон, вынуты платки. Кто-то из дам падает в обморок. Брат смотрит... Не на меня, нет... Я вдруг понимаю, что он, незрячий, видит тот же лес.

Я-то вижу лес все яснее, а вот фигуры и флаги на балконах влажно мерцают и расплываются вдали, словно уносимые быстрым течением. Брат плавно поворачивается и уходит с балкона. Его почтительно поддерживает под локоть старый придворный в орденской ленте, с крысиным лицом. Траурные драпировки смыкаются за ними. Балкончики разом пустиют, и лишь отверстие в куполе никто не закрывает.

Уровень влаги остановился. Я стою в ней по колено, она почти не плещется. Я стою в зеркале. Смотрю на пустую ложу, где стоял мой брат, подняв ослепительное застывшее лицо, кривя губы, будто смазанные ядом, последний, самый прекрасный из нашей династии.

И он тоже обречен! И его убьют, если еще не убили! Он был вял и бледен, как медленно отравляемый! Это сделал или вскоре сделает тот, кто долгие годы держал меня в каменном мешке, усадив на трон слепого мальчика. Меня до сих пор щадили вовсе не из милости, а из жестокого расчета. А вдруг пригожусь после смерти брата, если понадобится.

ся кем-то на несколько дней занять престол? Итак, сегодня мне вынесен приговор. Я еще жив, но уже отравлен. Долго ли смогу простоять на ногах? Как только они онемеют, я вынужден буду лечь в лужу смертельного яда. Стоять? Ждать? Чего?

Как светло! Никогда не было так светло. Ко мне по одуряюще пахучей влаге подплывает кусок пергамента, один из тех, до которых я не мог дотянуться. Совсем маленький кусок, обрывок неизвестной сказки. Я поднимаю его и читаю. Даже смерть бывает в чем-то милосердна.

Отбрасываю клочок пергамента и смотрю в зеркало. Прозрачный лес все плотнее обступает меня, там, оказывается, стоит жара, самый яркий, самый душный день лета, там в траве маленькими колокольчиками благовестит ядовитая белладонна... Из сказок я знаю, что это будет легкая смерть, а настойка очень дорогая. Что ж, для меня ничего не пожалели. Драконов так просто не убивают, принцев тем более, пусть они и провели всю жизнь (а сколько мне лет?!) в наморднике и на цепи.

Матушка... Отец... Брат... Все, все вы отражаетесь сейчас в этом смертоносном, сонном зеркале, и почти уже ничего не видя, я рвусь с цепи, чтобы обнять хотя бы ваши призраки. Трубят охотничьи рога, мечется на опушке загнанная лань, заходятся в лае поджарые собаки... И цвета все такие яркие, живые – о, счастье! Это уже не картинки к сказкам,

это было. И я – был. Не уродом в наморднике, склонившимся над зеркалом своей смерти, не изгоем, заточенным в подземелье, не чудовищем, с которым никто не говорил ни слова, которого, забавы ради, травили рыцарями, идущими на верную смерть ради ничтожной награды или из-за чьего-то доноса...

Я был человеком.

Желтый дракон

Белый свет лился сквозь щелистые ставни в духоту, вытесняя мрак – единственную иллюзию прохлады. Ночью, лежа с открытыми глазами, мальчик еще мог представить себе воздух, подменить его отсутствие присутствием темноты. Днем же, взвешенный посреди комнаты кипящим светом и жарой, медленно поднося чужие, тяжелые руки к влажному лицу, он даже забывал дышать. В эти последние дни лета, умирающего в сетях тягучего горячего безветрия, он совсем перестал спускаться вниз. Родственники, собиравшиеся утром в столовой, походили на больных. Их лица осунулись и побледнели, плечи ссутулились. Вяло, преодолевая усталость после тяжелого полусна на мокрых, свалявшихся простынях, позвякивали они ложечками о стенки чайных стаканов. В эти дни мальчик заметил, как пожелтели вокруг него вещи. Беленые стены, страница раскрытого учебника латыни, стенки стеклянного графина, откуда испарялась желтая вода, его собственное лицо в глубоком зеркале старого трюмо.

В эти дни он начал делать желтого дракона.

Ему понадобилась вся его вера, чтобы сделать из тонких лучинок подобие распятия, все знание прекрасного мертвого языка, чтобы вычертить на вощенной бумаге хищный, лаконичный изгиб зубчатых крыльев, вся его нежность, чтобы выстроить и огладить тугую горбатую грудь своей химеры.

В это утро, праздничное утро, когда ожидался приезд епископа из метрополии, желтый дракон был готов. Мальчик открыл окно в распаленное безветрие. Дракон не шевельнулся. Слепой, он уставился острой злой мордой в молочное сияние крыш, в серое плавкое марево, дрожащее на горизонте в конце улицы. На соборной звоннице ударили в колокола. Дракон содрогнулся. Далеко, на площади, остановилось шествие со статуей Девы Марии, подаренной городскому храму молодым епископом, начинавшим свою блестящую карьеру в этой глухой провинции. Колокола тяжело ворочали бронзовыми языками, перекатывая на толстых рокочущих боках масляные блики солнца. Дракон качнул крыльями. Внизу кто-то с шумом отодвинул стул и пошел за мальчиком наверх. Дракон улетел.

К мальчику заглянули и, увидев, что он спит, снова прикрыли дверь.

На площади колыхалось и пело разноцветное шествие. В темном храме низко стлалось желтое марево сотен свечей, вздыхающих в лад хору маленьких певчих, одетых в белое и тщательно причесанных матерями. Из врат торжественной вереницей выходили служки, становясь вдоль красной ковровой дорожки. Женщины, туго повязанные воскресными шальями, пробирались вперед, чтобы взглянуть на епископа, стоявшего на верхней ступени соборной лестницы, такого прекрасного, такого молодого, словно голубь, парящего над толпой. А с другого конца площади, вровень с ним, над голо-

вами оглушительно кричащих прихожан плыла Она, в звездном атласном покрывале, с восковым девичьим лицом, слегка отекившим от жары, глядя прозрачными светлыми глазами прямо на солнце. Хор смолк. Пламя свечей дрогнуло, вытянулось и застыло. Епископ шагнул Ей навстречу. Покачнулся, прикрыл глаза рукой. Вновь посмотрел на Нее, потом еще выше. Из-под сияющей ризы вверх по его шее и лицу поползла темная желтизна. Он упал, словно подтаявшая сахарная фигурка.

Толпа вскрикнула, волной накатилась на ступени храма. Толпу накрыла зубастая желтая тень. Над городом реял гигантский Желтый Дракон. Его крылья заслонили солнце, бросив мертвенный отсвет на замороженно воздетые лица прихожан.

Орган смолк. Дева Мария угрожающе качнулась и исчезла в толпе. Благовест утих. В горячем, плотном, лишенном ветра воздухе, словно в масле, расплавились и растворились все звуки. Дракон качнулся, чуть спустился. Тихо-тихо, но так, что слышали все, кто-то сказал: «Желтая Чума».

Какая тишина, какой покой стояли в тот долгий день! Белым полотном затянули все окна и двери. Наслышанные с детства о Желтой Чуме, горожане легли в постели, положив ладони на открытые глаза. Спали и не спали, и видели сны о том, как в желтых цветущих полях под горячим бледным небом желтоволосые девушки разжигали костры, один за другим, среди звона ос и кузнечиков, среди густого ядо-

витого запаха цветущих трав... Все, как встарь, все, как было когда-то, все, как будет всегда...

А уже к вечеру подул восточный ветер с далекого моря, первый ветер, преодолевший за последние недели выжженные равнины. Дракон лег на крыло, медленно описал круг над площадью, проплыл над храмом, над ратушей, над пустыми улицами, над мертвым городом. Повернул на запад, где садилось крохотное злое солнце, качнул клювом и исчез в сиянии иссохших соляных озер.

На площади лежали люди, словно сморенные жарой, прилегли они отдохнуть с открытыми глазами. Тысячи Желтых Драконов плыли над пустыми площадями их зрачков, и ветер не мог их согнать. В своих домах, в своих постелях лежали люди, и Желтые Драконы задевали острыми крыльями ладони, опущенные на открытые глаза. На верхней ступени храма лежал молодой епископ из метрополии, и в черных безднах его глаз плыл громадный, расширенный от боли Желтый Дракон. И лишь глаза Девы Марии остались чисты и прозрачны. В них было небо, только небо.

Мальчик очнулся от обморока в сумерках. Он не шевелился, никого не звал. То, что появилось рядом с ним, то, что принесло ему возможность дышать, пусть редко, пусть неглубоко, было так легко вспугнуть. В распахнутое окно тихонько струился холодный, солоноватый свежий ветер. В сумерках на подоконнике что-то изредка шевелилось. Мальчик сел на постели, затем встал на дрогнувшие, едва удерж-

жавшие его ноги, медленно, с остановками подошел к окну и обнял за хрустнувшую шею желтого дракона, за которым было небо, только небо.

Коррида

– Человека, к которому вы идете, там уже нет.

Женщина испуганно отшатнулась. В эти августовские дни, в Гранаде тридцать шестого года, она боялась всего. И потом, прохожего она не знала. Доверять нельзя никому, а то донесут, ведь сейчас расстреливают и служанок. Она прикрыла концом черной шали корзинку с передачей. Немного лепешек, табак, курительная бумага...

– Его там уже нет, – повторил незнакомый сеньор.

– Так, может, его в тюрьму перевели? – набравшись духу, прошептала она.

Мужчина резко развернулся и скрылся за углом. Женщина робко огляделась по сторонам. Вроде никто их не подслушивал. Рядом терлась только ее тень, темно-синяя, полуденная, совсем короткая.

«Я все-таки пойду туда, в управление. Хотя и вчера ходила, и позавчера, а он так ничего и не поел, да и как можно есть, если рядом стоят эти... С винтовками наперевес! Омлет ему испекла, так они весь разломали, смотрели, нет ли чего внутри. Дышать боюсь. Последние времена пришли!»

– Его здесь больше нет.

– Сеньор, – она подняла испуганные глаза, – сеньор, я женщина простая и никого в Гранаде не знаю. Вы мне помо-

жете? Ведь он был тут. Вот – я принесла ему передачу. Его матушка велела.

– Да нет его тут, – повторил утомленный полуденной жарой жандарм, охранявший вход в управление. Он крутил папироску и с интересом посматривал на корзинку с продуктами, которую женщина продолжала прикрывать шалью. – Не веришь, что ли? Так зайди, сама взгляни.

– Я... – окончательно растерялась она, – я...

Тот сплюнул на песок и отворил дверь. Уже через несколько минут женщина вышла из здания управления гражданского губернатора. Жандарм удовлетворенно кивнул, снова увидев ее.

– Чего, убедились? – он заговорил фамильярно, как старый знакомый. – Нету его. А что это у тебя в корзинке?

– Пустяки, – чуть не плача, ответила она. – Лепешки и немного табаку...

– Табаку? – оживился мужчина. – А ну, отсыпь!

Она торопливо протянула ему горсть душистого табака, такого, как любил Федерико. «Чтоб он тебе впрок не пошел, собака! Куда ж вы его дели, скоты?! Нету! А что я сеньоре скажу?!»

– И больше сюда не ходи, – добродушно продолжал жандарм, скручивая папироску. Облизал кончики бумаги, заклеил, закурил. Прикрыл глаза. – Хорош. Не ходи, говорю. Уж кто сюда попал... Лорка, говоришь? Федерико Гарсиа?

– Д-да...

– Ну, так я тебе скажу что-то, тетка, – он снова сплюнул, попал на собственную тень, тут же суеверно растер плевков подошвой сапога и мелко перекрестился. – А ты ступай себе домой и помалкивай. В Фуэнте-Гранде он.

– Это... где?

– Чего уж тут... Нигде.

Служанка побежала прочь и даже не смела оглядываться. Ей чудилось, что за ней гонится отряд жандармерии. Заплакала она только дома.

«А если меня убьют, вы очень будете плакать?» Так вот он все и спрашивал, будто чувал!» Она обнимала крышку рояля, за которым они с Федерико вместе прятались во время бомбежек. «Да неужто... Неужто! Хоть бы узнать, где могилка-то...»

Она узнала об этом в 1966 году, когда ей было уже восемьдесят лет, но так и не собралась туда сходить. Страх тех далеких дней был так силен, что старуха побоялась даже переступить порог. Ей рассказали, что там растут две оливы, сосны и что рядом с сеньором Федерико похоронено еще три человека. Школьный учитель и два бандерильеро. Она молилась за них всех, слабо шевеля пересохшими, сморщенными губами, но видела одного Федерико – его смуглое, нежное лицо, ясные громадные глаза, глаза раненой лани, не человека. Его улыбку – то робкую, то задорную. «Вот он умер, а я все еще жива. Почему, зачем? Чего господь еще от меня хочет? Еще одной молитвы? Еще одного дня? А кому он ну-

жен? Что я такого могу сделать? А Федерико убили. И никто не заступился! Прости меня, Господи, но я ропщу! Взял бы ты тогда меня вместо него! Ну вот, видишь, не ропщу больше, молюсь, видишь, молюсь... Что же мне еще делать!» Истертые четки замирали в пальцах, скрюченных ревматизмом, голова склонялась на впалую грудь. Старушка дремала.

...— Бедро! Бык ударил его рогом в бедро! Артерия задета!

Вокруг раненого тореро Игнасьо Санчеса Мехиаса толпилась взбудораженная свита. Все суетились, и никто ничего не мог толком сделать. Этот день 11 августа 1934 года был жарким, по смуглым лицам струился пот, а на песок, раскаленный полуденным солнцем, зловещим ручейком змеилась кровь. На трибунах слышались крики. Публику уже с трудом удавалось сдерживать, на арену пытались прорваться впавшие в истерику фанаты. Ранен народный любимец, гордость Андалузии, звезда корриды!

— Хлороформ!

— Стойте, ваты... Бинты...

— Он... Он... Умер...

И все, окружавшие нарядное, как жертва для заклания, тело тореро, расступились, словно давая смерти пройти к нему, по ее законному праву. Тот уже не дышал, и только когда на колокольне ближайшей церкви зазвонили к вечерне, слегка вздрогнул, будто услышал звон. Но то была смертная судорога.

— Это хорошая смерть, — почтительно произнес кто-то. —

Господь призвал его к себе.

Он плохо видел и был тугодумом, как все быки. Но все же его начинали утомлять темнота и теснота хлева, в котором его заперли. Шел уже шестой день, а его ни разу не выпустили на пастбище, а ведь он был смирным быком и пасся один, без пастуха. Там, на предгорном лугу, так хорошо! Трава высокая, сладкая, рядом ручей, пей, сколько хочешь, пока не занемеют губы... Что же он такого натворил, почему его заперли?

Бык неохотно жевал свежее сено и пытался размышлять. В голову ничего не приходило, кроме... Ну да, вот это и было не так, как всегда, так, может, в этом причина? Он кое-что видел. Бык поднял голову от кормушки и глубоко задумался. Ну да. Наверное, дело в этом. Это все Агдистис, их богиня. Она живет в горах, разъезжает на колеснице, запряженной львами и пантерами, и только иногда спускается на землю, чтобы встретиться со своим возлюбленным. А он земной человек и живет в их селении. Зовут его Аттис. На днях он женился на соседке, а когда богиня узнала, то приехала на своей упряжке в село и наслала на людей безумие. Все передрались, было много жертв. Потом никто не мог понять, что случилось. А Аттиса она убила. Отрезала ему кое-что, без чего не женятся, и он истек кровью.

Бык коротко всхрапнул. Ну, все так, и стоило наказать изменника. Но его-то за что запирать? Только за то, что они

резвились на его предгорной лужайке? Всю траву перемяли... Потому что он все видел? Да он и не смотрел, ему было неинтересно и даже стыдно.

Открылась дверь, и бык зажмурился, ослепленный хлынувшим в хлев солнцем. Его ласково поманил человек в белом хитоне из крученого виссона. На голове у него красовалась тяжелая шапка, сплошь обшитая золотыми бляшками. Бык поморгал и с недоверием взглянул на него. Это был не хозяин, даже не сосед. Это был местный священник. Сперва бык не хотел за ним идти, но уж очень соскучился по свету, по траве и быстрой, ледяной воде горного ручья.

Не успел он выйти, как его схватили, опутали веревками, связали ноги. Он ревел, вырывался, уже сообразив, что готовится нечто подлое, ужасное, то, чего он не заслужил! А его уже тащили по пыльной площади к высокому глиняному постаменту. Десять молодых обнаженных мужчин взвалили его бьющееся тело на плечи и швырнули на постамент. Бык был так ошеломлен, что затих. Он увидел Агдистис. Она стояла на своей колеснице, а львы и пантеры лежали в рыжей пыли, лениво догладывая длинные кости, на которых еще оставалось немного мяса. Чьи кости?

Бык снова всхрапнул. Хотя по натуре он был смирным, но вид и запах крови выводили его из себя. На постамент поднялся священник. Он торжественно надел быку на шею венок, сплетенный из луговых трав. Бык окончательно растерялся. Он взглянул на Агдистис, ища ответа. Та смотрела

в сторону.

На краю площадки он заметил круглую ямку. Бык стал думать, зачем она, и думал, пока не устал. Сперва вокруг него долго пели песни, затем священник с поклоном поднес Агдистис пустую чашу. Та равнодушно ее взяла и подошла к постаменту.

В этот день случилось уже столько всего необычного, что бык решил ни о чем не думать, все равно не сообразит, что к чему. Он кротко посмотрел на Агдистис, надеясь, что она-то, добрая вавилонская богиня плодородия, не причинит ему никакого зла.

Она и в самом деле ничего плохого ему не сделала. Просто стояла, выпрямившись во весь рост (а он у нее был немалый), закутанная в синие и золотые одежды, увешанная тяжелыми украшениями, умащенная благовониями. И держала чашу. А удар ножом в сонную артерию нанес ему священник, которого бык даже не успел заметить. Он всхрапнул, взметнулся, но веревки крепко натянули со всех сторон. Через минуту он утих. В подставленную чашу быстро бежала его кровь, горячая, почти черная. Священник наполнил чашу и поднес ее Агдистис, согнувшись чуть не до земли. Та взяла, пригубила и подала обратно. Вскочила на свою колесницу и через мгновение исчезла в облаке пыли.

Быка сняли с пьестала и понесли жарить. Возбужденные жители селения переговаривались, обсуждая предстоящий пир.

– Хватит еще и на завтра. Давно мяса не ел! Если бы не эта свадьба...

– Тс-с! – перебивал сосед. – Не поминай! Аттиса видел? Агдистис ему все начисто отрезала!

– Говорят, теперь в этот день всегда будут так делать – быков убивать, – вмешался древний старик, который и есть-то мясо не смог бы из-за полного отсутствия зубов, но все же примешался к толпе. – Богиня повелела.

– Неужто?! – встревожился местный богач, владелец большого стада. – У кого же их будут брать?

– Не знаю, – старик хитро покосился на него. – А только говорят, убивать будут самых лучших.

Богач закатил черные выпуклые глаза и принялся делать молитвенные жесты. Он явно собирался призвать богов – Ану, Ананда и Этеменанки, но промолчал. Проглотил свое горе и свою скупость и молча пошел на пир. Хоть какая-то выгода, можно наесться до отвала, бык-то чужой.

– Самых лучших... – язвительно тянул ему на ухо старик, перебирая хромыми, отощавшими ногами в рваных сандалиях из плетеной кожи. – Только самых лучших будут убивать. Так она повелела. Всегда ведь убивают самых лучших. Иначе жертва богам негодна.

Богач косился на него с ненавистью и мысленно прикидывал, большой ли урон понесет его стадо в будущем году и нельзя ли этого убытка избежать? Кормить быков похуже? Перегнуть на другой склон горы и сказать всем, что стадо

потерялось?

– Самых лучших, – хрипло повторял старик, облизывая губы в предвкушении трапезы. Мяса ему не доводилось есть уже давно. – В жертву приносят только самых лучших!

Мардук

– Вот!

И на стол, заваленный бумагами, легла книга. В пепельнице источала прерывистую струйку дыма недобитая сигарета. Профессор разрешил визитерше курить, но она сделала всего две затяжки, а потом, задохнувшись то ли от слез, то ли от дыма, принялась тушить огонек.

– И таких книг еще шесть! Он выбросил бешеные деньги на переплеты, а ведь при этом нам есть было нечего! За квартиру два месяца заплатить не соберусь! После этого вы говорите, что он не сумасшедший?! Вы просто не желаете его принять, уж не знаю почему... А я вам говорю, он с ума сошел, он...

Женщина растянула рот в слезной гримасе. Профессор наблюдал за ней с привычной невозмутимостью. В его кабинете часто плакали.

– Вы обязаны помочь, – бормотала она, выуживая из сумки мокрый комок ткани, который уже с трудом можно было принять за носовой платок. – Если он нормален, если это норма, кто же тогда я?! Кто тогда мы все?! Сами сумасшедшие?! Взгляните!

Она резко выбросила из сумки на стол еще несколько книг. Профессор машинально отшатнулся. Он однозначно реагировал на подобные движения. В него часто чем-то швы-

ряли. «Глаза у нее опухли, но от слез, не от алкоголя. Мужа я видел. Внешность заурядная. Человек толпы. Ни у нас, ни в наркодиспансере не наблюдался. Была нормальная семья. Десять лет в браке, двое детей, стабильный доход. Жена – бухгалтер в маленькой фирме, муж – водитель такси. Все было хорошо. Но вдруг...»

– Вот они все, проклятые! – Женщина с ненавистью сложила книги в аккуратную стопку. – Посмотрите на них! Семь книжек, каждая из которых посвящена специализации одного из факультетов Мардукского университета.

«Она сильно возбуждена, а вот муж в полном порядке, немного подавлен, и только. Я уже беседовал с ним и не вижу ни одной причины его здесь держать. Полностью адекватен. Единственный припадок, но зато весьма буйный, случился, когда дети перепутали книги. Вот эти самые. Он напал на детей, потом набросился на жену, которая хотела их защитить. Затем мужчина попытался покончить с собой. Он всегда складывал книги в определенном порядке, именно эти семь. Если бы перепутали другие книги, она сказала, он бы и пальцем не двинул. Он вообще ничего, кроме газет, не читал, и совершенно неясно, почему этот пустяковый случай привел его в бешенство. Общаясь с ним, я не смог поставить диагноз. Даже тени диагноза!»

– Что такое «Мардукский университет»? – осведомился профессор. Прозвучавшее название ничего ему не сказало, но отчего-то задело – как что-то, давно слышанное и давно

забытое.

– Вы не знаете? – почти издевательски переспросила женщина. Слезы высохли, она держалась прямо, но голос дрожал. – Мардук – это верховный бог Вавилона. Ну хотя бы, что такое Вавилон, знаете?!

Она вдруг расхохоталась, зажимая рот мокрой тряпкой, в которую превратился заплаканный платок. Профессор попытался припомнить, в каком из ящичков стола лежат легкие успокоительные таблетки, но женщина осеклась и добавила:

– А что такое Вавилонская башня?

– Разумеется, я знаю, что такое Вавилонская башня, – спокойно ответил он. – Не желаете воды?

– А... Вы знаете... – она бессвязно пробормотала что-то в платок. – А я толком не знала. Так, слышала что-то. И он не знал. Уверена, муж понятия не имел об этой башне! Он этим не интересовался! Я могла бы все понять, если бы у него было такое хобби, но у него никакого хобби не было!

– Так что такое «Мардукский университет»? – вкрадчиво спросил профессор.

– Это университет. Учебное заведение, – визитерша взглянула на него пристально, как сам он часто смотрел на пациентов, которые несли дичь. – Что такое университет, понимаете?

– Примерно. По крайней мере, я его когда-то окончил.

– Хорошо, – она глубоко вздохнула и откинулась на спинку расшатанного кресла. В кабинете давно полагалось сме-

нить мебель, но очередь угрожала затянуться до следующего года. Интриги... Его кафедру особо не жаловали, потому что он порой был резок с начальством и не умел никому льстить. – Тогда просмотрите книги. Это серия. Семь книг. Я правильно их сложила. Это уже привычка, потому что он не выносил, когда их складывали неправильно. Дети копались на полке и перепутали... И вот... – Женщина нервно сглотнула. – Началось пару лет назад. Точнее сказать не смогу, не заметила, замоталась. Он вдруг начал работать в долг. Понимаете, раньше нам хватало на жизнь, но вдруг он начал бить машину, а за ремонт водитель платит сам, так что... И каждый раз говорил, что задумался. «О чем задумался?!» Да, я орала на него, я, может, вела себя неверно, но я же не понимала, что это связано с книгами! Я думала, у него появилась любовница или он начал пить! А ни того ни другого!

Она отдышалась в платок, с отвращением взглянула на него, будто впервые видела, и швырнула в мусорную корзину.

– И вот он приносит домой книгу! Он впервые купил книгу! У него же нет никакого образования, кроме школы, а там по литературе были только тройки, и то их ставили из жалости, потому что парень хороший! И заговорил он вдруг странно. Не как всегда... Он сказал, что эта книга переплетена в соответствии со старинными канонами. Он до этого не знал слова «канон»! – застонала женщина. – Я сама его узнала из энциклопедии, когда захотела понять, о чем речь... Это

был первый раз, когда я поняла, что с ним что-то не так! И знаете, – она подалась вперед, – чему была посвящена книга?! Языкознанию! А переплетена в белый сафьян.

Она выдержала паузу, ожидая реакции слушателя, но так как профессор молчал, вздохнула и продолжала:

– Он так и сказал – «сафьян». Что это такое, я тоже узнала из энциклопедии. Потом показала знающим людям. Настоящий... – у женщины дрогнул голос. – Обошлось в бешеные деньги. И я абсолютно уверена, что он эту книгу не читал. После этого муж совсем перестал приносить домой зарплату. Говорил, что постоянно попадает в аварии, но однажды у меня хватило ума позвонить диспетчеру его компании, и та мне сказала, что мой муж лучший таксист и его даже пересаживают на новую машину. Никаких аварий не было. И тогда я поняла, на что идут деньги. В доме появилось еще несколько книг. Все – научные. Он их тоже не читал. Даже в руки не брал. Только следил, чтобы они были правильно расставлены на полке. Книгу о медицине переплел в черную бычью кожу с золотым тиснением, о литературе – в красный шелк, о мифологии – в синий бархат, историческую – в коричневый атлас, о математике и астрономии – в серебряную и золотую парчу. Качество переплетов, – она с яростью постучала по столу, – высочайшее! И сложены были эти семь книжек строго по размеру в стопку – начиная с нижнего, самого большого белого тома и кончая верхним, крохотным золотым. И когда дети все перепутали, муж кричал, что он

профессор Мардукского университета, что-то еще про Этеменанки и что все это написал он сам! У меня был шок, наверное, поэтому я все так ясно помню. Помню даже слова, которые он стал произносить напоследок, когда мне удалось его связать и я стала звонить в «скорую». Это были непонятные, ни на что непохожие слова... Я даже могла бы их повторить, но они же ничего не значат...

Она всхлипнула и стиснула дрожащие руки.

– Я не могу так больше! Он уже не тот человек, за которого я выходила замуж! Мне не нужна Вавилонская башня! Не нужен какой-то там зиккурат, который он вдруг стал имитировать своими книжками! Семь ступеней зиккурата, разных по размеру и цвету! Как его книги! Я притаскиваюсь домой после работы, чуть не ползком, думаю о том, как успеть приготовить ужин и постирать, и застаю мужа за тем, что он пытается задушить ребенка! Только потому, что он переплел никчемные книжки в безумно дорогие переплеты и стоять они на полке должны вот только так, никак иначе! Потому что все это он сам написал и открыл!

Она уткнулась мокрым лицом в рукав блузки. Профессор тем временем бегло просматривал книги, и на его лице все явственнее обозначалась улыбка.

– Вот что я хочу спросить, – он отложил в сторону последнюю книгу об астрономии, в золотой парче, украшенной полудрагоценными камнями. – Ваш супруг никогда не страдал от того, что не получил высшего образования?

Женщина с недоумением подняла глаза.

– Нет...

– Ни одна из этих книг не вышла из типографии и вряд ли была куплена в магазине. Все они рукописные, разве вы не обратили внимания?! – Наткнувшись на ошеломленный взгляд собеседницы, профессор снисходительно пояснил: – Они написаны от руки, одним и тем же человеком. Это почерк вашего мужа?

Та заглянула в раскрытую книгу и с тихим стоном закивала:

– Его... Я никогда к ним не притрагивалась, я их ненавидела... Если бы я знала, что он их правда сам написал, я бы давно обратилась к вам!

– Он не написал их, а переписал. Эти книги уже написаны, причем давно. Он явно пользовался публичной библиотекой для работы.

– Библиотекой? Он и дороги туда не знал! – Она хватала и раскрывала одну книгу за другой, с запинкой прочитывая вслух титульные листы: – Авиценна... Коперник... Лобачевский... Ювенал... Абеляр... Фома Аквинский... Абдулла Ал Хазред... Я не знаю их, хотя училась в институте, а он-то!

– Он их переписал, – подавшись вперед, профессор грузно и азартно оперся обеими руками о заваленный бумагами стол, – переписал то, чего, судя по вашим словам, даже не понимал. Переписал и переплел. И конечно, ни в какие ава-

рии не попадал, если не считать той, что случилась с ним самим, невидимо для окружающих, даже для вас. С какого-то момента одну половину своего рабочего времени ваш супруг тратил на переписку книг, а вторую – на то, чтобы окупить переплеты. Вы можете идти! – Он выпрямился, его голос звучал почти весело. – Мы примем его, безусловно.

Женщина вскочила. На ее заплаканном лице был написан испуг, не радость, хотя только что ей обещали то, чего она добивалась.

– Значит, это так серьезно?

– Это интересно. Я лично буду им заниматься.

Покачнувшись, словно оглушенная, посетительница повернулась и, не попрощавшись, вышла из кабинета. Профессор с шумом отодвинул кресло, подошел к окну, постоял, оглядывая больничный двор, так мало похожий на...

На пять внутренних дворов Мардукского университета. «Пять? Откуда я знаю, что их было пять? Я ведь никогда ничего не читал о Вавилоне!» Он сморгнул. Мир был прежним, но... Где-то на его задворках трепетало, требовало ответа то, что к этому миру не принадлежало. Здесь – благостная прохладная осень, тихие, одурманенные лекарствами пациенты, угрожающе спокойные санитары, медсестры, снующие по двору в топорщащихся от крахмала халатах, как белые куры, которым бросили горсть проса.... И нет здесь желтой колоннады с голубыми завитками капителей, нет Вавилонской башни. «Откуда я знаю, что колоннада была желтая, а

капители голубыми?! Когда я говорил с этим таксистом, об этом не было ни слова! Но я знаю. Я... Больше, чем знаю. Я это видел!»

Он повернулся к столу, аккуратно сложил в стопку семь великолепно переплетенных книжек, посвященных новейшим исследованиям Мардукского университета. Белая, черная, красная, синяя, коричневая, серебряная, золотая – снизу вверх, от большой к маленькой. «Отнесу ему, побеседуем. Таксист. Не любил читать. Переписал такую махину! Сатанинский труд! Откуда он вообще узнал эти имена?! Почему выбрал этих авторов?! Почему решил имитировать переплетами количество ступеней зиккурата и их цвета?! А когда книги перепутали, попытался убить детей!»

Профессор поднял сложенные книги до уровня глаз и на миг узрел чудесное видение – семицветную башню зиккурата, ступенями поднявшуюся из храма Мардука к звонкому небу Вавилона.

– Если сощурить глаза, – прошептал он, – она в самом деле есть. Есть, все еще. Но только если сощурить глаза.

Осторожно опустил стопку на стол и звонком вызвал медсестру. Был час, когда большинство персонала обедало, отсюда и такая сутолока во дворе. Сестра медлила. Она за это получит. Это обойдется ей куда дороже пирожка, который она в данный момент уминает в столовой. Все сильнее раздражаясь, профессор подошел к окну и увидел...

Громадный храм без окон. Желтые колонны с голубыми капителями. Циклопические ступени. Яркие изразцы. «Я открою окно, выгляну, и все исчезнет!» Он открыл окно, но видение не изменилось. Более того, теперь профессор отчетливо слышал слабый шелест воды в глубоких каменных каналах, обрамлявших храм... Он отшатнулся, закрыв глаза, отдышался. Осторожно поднял судорожно трепетавшие веки. Храм не исчез. Он был.

«Вавилон! Я ничего не знал о нем, никогда не знал. Но... И он ведь не знал. Но вот! – вот! – зиккурат! И там, на улицах, под террасой, с которой я гляжу вниз, толчется народ. И там говорят на языке, который я кажется, кажется... Начинаю понимать».

В кабинет торопливо вбежала пожилая медсестра, что-то прожевывая на ходу. Профессор резко обернулся, стараясь загородить оконный проем, чтобы она не увидела дивного храма:

– В чем дело?!

– Вы звали! – та проглотила последний кусок.

– Вечно вы... – начал он и вдруг словно подавился этими словами. Они переставали быть ему знакомы. Зато он все отчетливее понимал то, что кричали за окном. А кричали все громче. Медсестра могла услышать голоса, даже стоя у двери, но казалось, не слышала ничего. Она продолжала смотреть на профессора с выражением животной преданности, ожидая приказаний. «Внизу базар, восточный базар, оттого

такой крик. А над ним... Зиккурат».

– Я, – с трудом выговорил профессор, – нездоров. Сегодня такая жара. Не буду делать обход. Устройте нового больного, который думает, что видит древний Вавилон. И отнесите ему эти книги. Все семь. Но только, – он сурово погрозил ей пальцем, – не вздумайте их перепутать!

– Что?!

– Этеменанки... – пробормотал профессор и вышел.

Медсестра, облизывая сальные губы, недоуменно смотрела ему вслед.

«Этеме... И никакой жары нет, сегодня прохладно. Для сентября даже слишком. Какие книги?»

Она подошла к столу и, внимательно осмотрев все, что там находилось, пришла в отчаяние.

«Ни одной книги, а он сказал – семь! Так что я должна отнести и кому?! К нам сегодня никто не поступал, и уж точно не было никого насчет древнего Вавилона! Опять он на меня наорет, скажет, что ничего не поняла!»

А профессор, чуть не вприпрыжку сбежав по лестнице, уже шел через шумный восточный базар, натываясь на корзины с пряностями, пахнущими так оглушительно, что можно было потерять сознание. Его хватали за полы белого халата, зазывали, расхваливая товар. Он вежливо отвечал на том же языке, извинялся, вырывался из смуглых, жадных, пропитанных благовонным маслом рук и ни на миг не терял из вида Вавилонскую башню.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.